

ДЭН СУММОНС



ДЭН СИММОНС

ПЕСНЬ  
КАЛЦ



Издательство АСТ  
Москва

УДК 821.111-312.9(73)  
ББК 84(7Coe)-44  
С37

Серия «Вселенная Стивена Кинга»

Dan Simmons  
SONG OF KALI

Перевод с английского *В. Малахова*

Компьютерный дизайн *В. Воронина*

Печатается с разрешения автора и литературных агентств  
Baror International, Inc. и Nova Littera SIA.

**Симмонс, Дэн.**

С37 Песнь Кали : [роман] / Дэн Симмонс ; [перевод с английского В. Малахова]. — Москва : Издательство АСТ, 2022. — 352 с. — (Вселенная Стивена Кинга).

ISBN 978-5-17-133084-2

Калькутта. Древний город ученых, философов, музыкантов, художников и поэтов. Город таинственных историй и странных верований, сочетающий в себе божественную красоту и отвратительное уродство, высоту духа и нищету обитателей тесных ночлежек, тонкие благовония и смрад мертвечины. Журналист Роберт Лузак по заданию редакции отправляется в это знаменитое место, чтобы привезти в Америку рукопись поэта Даса, ученика легендарного Рабиндраната Тагора. Обычная командировка обрывается чередой ужасающих происшествий...

УДК 821.111-312.9(73)  
ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-17-133084-2

© Dan Simmons, 1985  
© Перевод. В. Малахов, 2022  
© Издание на русском языке  
AST Publishers, 2022

*Харлану Эллисону,  
который слышал песнь,  
а также Карен и Джейн,  
которые являются  
моими другими голосами.*



...Есть тьма. Она для всех. Лишь некоторые из греков и их почитателей в своем текущем расцвете, где дружба красоты с человеческими существами была идеальной, считали, что они отчетливо отделены от этой тьмы. Но и эти греки находились в ней. Но все равно завязшее в грязи, терзаемое голодом, загнанное в сутолоку улиц, ввергнутое в войны, страдающее, несчастное, суетящееся, получающее удары в живот, убитое горем, бесхребетное человечество продолжает восхищаться ими; все его множество, кто из-под клубов черного дыма хаоса Везувия, кто среди вздымающейся калькуттской полночи, вполне сознавая, где они.

*Сол Беллоу*

Но это Ад; и я не вышел из него.

*Кристофер Марлоу*





Есть места, слишком исполненные зла, чтобы позволить им существовать. Есть города, слишком безнравственные, чтобы испытывать страдания. Калькутта — именно такое место. До Калькутты я бы только посмеялся над такой идеей. До Калькутты я не верил в зло — во всяком случае, в качестве силы, отдельной от действий людей. До Калькутты я был глупцом.

Захватив Карфаген, римляне истребили мужчин, продали в рабство женщин и детей, разрушили громадные сооружения, раздробили камни, сожгли развалины, усыпали солью землю, чтобы ничто более не произрастало на том месте. Для Калькутты этого недостаточно. Калькутта должна быть *стерта*.

До Калькутты я участвовал в маршах мира против ядерного оружия. Теперь я грежу о ядерном грибе, поднимающемся над неким городом. Я вижу дома, превращающиеся в озера расплавленного стекла. Я вижу улицы, текущие реками лавы, и настоящие реки, выкипающие громадными сгустками пара. Я вижу фигуры людей, вытанцовывающих, как горящие насекомые, как вихляющие богомолы, дергающихся и лопающихся на ослепительно красном фоне полного разрушения.

Город этот — Калькутта. Не могу сказать, чтобы мне были неприятны эти видения.

Есть места, слишком исполненные зла, чтобы позволить им существовать.



# 1

Сегодня в Калькутте бывает все что угодно... Кого мне винить?

*Санкха Гош*

— Не ездь, Бобби, — сказал мой друг. — Не стоит оно того.

Шел июнь 1977 года, когда я приехал из Нью-Гемпшира в Нью-Йорк, чтобы обговорить с редактором из «Харперс» последние детали моей поездки в Калькутту. После этого я решил заскочить к своему другу, Эйбу Бронштейну. Скромное конторское здание на окраине, приютившее наш маленький литературный журнальчик «Другие голоса», выглядело весьма непритязательно после нескольких часов созерцания Мэдисон-авеню с разреженных высот апартаментов издательства «Харперс».

Эйб в одиночестве сидел в своем захламленном кабинете и трудился над осенним номером «Голосов». Несмотря на открытые окна, воздух в комнате был таким же вонючим и сырым, как и потухшая сигара, которую жевал Эйб.

— Не ездь в Калькутту, Бобби, — повторил Эйб. — Пусть это будет кто-нибудь другой.

— Эйб, все уже решено, — ответил я. — Мы вылетаем на следующей неделе. — После некоторых колебаний я добавил: — Платят очень хорошо и берут на себя все расходы.

— Гм-м, — молвил Эйб, передвинув сигару в другой уголок рта и хмуро уставившись в наваленную перед ним кучу рукописей.

Глядя на этого потного, всклокоченного человечка, больше, чем кто бы то ни было, напоминавшего заезженного букмекера, никто бы и подумать не мог, что он возглавляет один из наиболее уважаемых «малых журналов» страны. В 1977 году «Другие голоса» не затмевал старый «Кэньон ревью» и не вызывал необоснованного беспокойства по поводу конкуренции у «Хадсон ревью», но мы рассылали нашим подписчикам ежеквартальные номера журнала; пять повестей из тех, что впервые опубликовал наш журнал, были отобраны для антологий на премию О'Генри, а в посвященный десятилетней годовщине юбилейный номер пожертвовала повесть сама Джойс Кэрол Оутс. В разное время я перебивал в «Других голосах» помощником редактора, редактором отдела поэзии и корректором без жалованья. Теперь же, после того как я в течение года предавался раздумьям среди нью-гемпширских холмов и только что выпустил книгу стихов, я был лишь одним из уважаемых авторов. Но я по-прежнему считал «Другие голоса» *нашим* журналом, а Эйба Бронштейна — близким другом.

— Но какого черта, Бобби, они посылают именно тебя? — спросил Эйб. — Почему «Харперс» не отправит туда кого-нибудь из своих боссов, раз уж это настолько важно, что они даже расходы берут на себя?

Эйб попал в точку. Мало кто слышал о Роберте С. Лузаке в 1977 году, даром что «Зимние призраки» удостоились половины колонки обзора в «Таймс». И все же во мне теплилась надежда на то, что люди — во всяком случае, те несколько со-

тен, чье мнение чего-то стоит, — слышали обо мне, и слышали нечто многообещающее.

— «Харперс» вспомнил обо мне из-за моей прошлогодней статьи в «Голосах», — сказал я. — Помнишь, та, о бенгальской поэзии. Ты еще сказал тогда, что я слишком много времени убил на Рабиндраната Тагора.

— Как же, помню, — откликнулся Эйб. — Удивительно еще, что эти клоуны из «Харперс» знают, кто такой Тагор.

— Мне позвонил Чет Морроу. Он сказал, что статья произвела на него глубокое впечатление. — Я решил опустить тот факт, что Морроу забыл имя Тагора.

— Чет Морроу? — проворчал Эйб. — Он разве уже не пишет кинороманы по телесериалам?

— Пока он работает временным помощником редактора «Харперс», — ответил я. — Он хочет получить статью о Калькутте к октябрьскому номеру.

Эйб покачал головой.

— А как насчет Амриты и крошки Элизабет-Регины...

— Виктории, — закончил я за него.

Эйб знал, как зовут мою малышку. Когда я впервые сообщил ему, как мы назвали девочку, Эйб заметил, что имя довольно удачное для потомства индийской принцессы и чикагского полячишки. Этот человек был воплощением чуткости. Хоть Эйбу и было далеко за пятьдесят, он так и жил вместе со своей матушкой в Бронксвилле. Он с головой ушел в издание журнала и казался безразличным ко всему, что напрямую с этим не связано. Как-то зимой у него в конторе сломалось отопление, и большую часть января он проработал там, закутавшись в шерстяное пальто, прежде чем пошевелил пальцем, чтобы сделали

ремонт. В то время Эйб общался с людьми в основном по телефону или по почте, но его язык от этого не становился менее язвительным. Я начал понимать, почему никто не занял мое место ни на посту помощника редактора, ни в должности редактора отдела поэзии.

— Ее зовут Виктория, — повторил я.

— Не важно. А как Амрита отреагировала на то, что ты собираешься сбежать и бросить ее одну с ребенком? Кстати, сколько девочке? Месяца два?

— Семь месяцев.

— Не рано ли уезжать в Индию и оставлять их одних?

— Амрита тоже едет. И Виктория. Я убедил Морроу в том, что Амрита может переводить мне с бенгальского.

Это не совсем соответствовало истине. Именно Морроу предложил мне взять с собой Амриту. По правде говоря, эту работу я получил благодаря имени Амриты. До звонка мне «Харперс» обращался к трем авторитетам в области бенгальской литературы, двое из которых были индийскими писателями, живущими в Штатах. Все трое отвергли предложение, но последний из них упомянул в разговоре Амриту, и — хотя ее специальностью была математика, а не литература, — Морроу за это уцепился. «Она ведь говорит по-бенгальски?» — спросил Морроу по телефону. «Конечно», — ответил я. На самом же деле Амрита знала хинди, маратхи, тамильский и немного пенджаби, а также говорила по-немецки, по-русски и по-английски, но только не по-бенгальски. «Один черт», — подумал я.

— А Амрита хочет ехать? — спросил Эйб.

— Ждет не дождется, — ответил я. В Индии она не была с тех пор, как ее отец перевез семью в Ан-

глию, — тогда ей было семь лет. Да и в Лондоне по дороге в Индию она хочет немного побыть, чтобы ее родители посмотрели на Викторию. Насчет последнего я уже не покривил душой. В Калькутту с ребенком Амрита ехать не хотела, пока я не убедил ее в том, что эта поездка исключительно важна для моей карьеры. Остановка в Лондоне стала для нее решающим фактором.

— Ладно, — буркнул Эйб. — Валяй, езжай в свою Калькутту.

Его тон, однако, отчетливо выражал, что он думает по поводу этой затеи.

— Объясни, почему ты против этой поездки, — потребовал я.

— После. Для начала расскажи-ка про этого самого Даса, о котором болтает Морроу. Еще я хотел бы знать, почему ты хочешь, чтобы я забил половину весеннего номера «Голосов» для очередной писанины этого Даса. Терпеть не могу перепечатки, а среди его стихов не найдется и десяти строчек, чтобы не печатались и не перепечатывались до тошноты.

— Верно, речь о Дасе, — сказал я. — Но не перепечатки. Новые вещи.

— Рассказывай.

И я стал рассказывать.

— В Калькутту я собираюсь, чтобы разыскать там поэта М. Даса, — начал я. — Разыскать, поговорить с ним и привезти кое-что из его новых работ для публикации.

Эйб уставился на меня.

— Угу, — произнес он. — Не получится. М. Дас умер. Преставился годков эдак шесть-семь тому назад. Кажется, в семидесятом.

— В июле тысяча девятьсот шестьдесят девятого года, — уточнил я, не сумев удержаться от самодовольной нотки в голосе. — Он исчез в июле шестьдесят девятого, когда возвращался после похорон, точнее, кремации своего отца в одной деревне в Восточном Пакистане — сейчас это Бангладеш, — и все решили, что его убили.

— Ага, припоминаю, — сказал Эйб. — Я тогда останавливался на пару дней у вас с Амритой, на вашей бостонской квартире, когда Союз поэтов Новой Англии проводил мемориальные чтения в его честь. Ты еще читал что-то из Тагора и отрывки из эпических поэм Даса про... как ее... эту монахиню — мать Терезу.

— А еще ему были посвящены две вещи из моего чикагского цикла, — добавил я. — Но, кажется, мы немного поторопились. Дас, судя по всему, снова всплыл в Калькутте — во всяком случае, появились его новые стихи и письма. «Харперс» заполучил кое-какие образчики через одно тамошнее агентство, с которым они работают, и те, кто знал Даса, утверждают, что эти новые вещи написаны наверняка им. Но никто не видел его самого. Так вот, «Харперс» хочет, чтобы я попробовал раздобыть что-нибудь из его новых работ, но основной темой статьи будет что-то вроде «В поисках М. Даса». А теперь хорошая новость. «Харперс» имеет право первого выбора из тех стихов, которые я заполучу, но все остальное мы можем тиснуть в «Других голосах».

— Паршивые объедки, — буркнул Эйб, принявшись жевать сигару. За годы совместной работы с Бронштейном я привык к подобному изъятию глубокой благодарности. Я промолчал, и в конце концов он заговорил сам:



— И где же, Бобби, этот самый Дас пропал восемь лет?

Я пожал плечами и сунул ему фотокопию, полученную от Морроу. Эйб изучил ее, повертел на вытянутых руках, повернул боком, как журнальный разворот, и швырнул обратно.

— Сдаюсь, — сказал он. — Что это за хреновина?

— Это кусок новой поэмы, которую, как предполагают, Дас написал за последние годы.

— Это на хинди?

— Нет, в основном санскрит и бенгали. А вот английский перевод.

Я подал ему другую копию.

По мере того как Эйб читал, его потный лоб покрывался все более глубокими морщинами.

— Боже праведный, Бобби, и для этого я должен оставить весенний номер? Да здесь про какую-то дамочку, которая трахается на собачий манер и одновременно пьет кровь из безголового мужика. Или я чего-то не понял?

— Все точно. Именно про это. Правда, в этом отрывке всего несколько строф. И перевод довольно приблизительный.

— Я думал, что поэзия Даса лирична и сентиментальна. Вроде того, как ты описываешь в своей статье стихи Тагора.

— Он таким был. И есть. Но не сентиментальный, а *оптимистичный*. — Эту фразу я использовал неоднократно для защиты Тагора. Черт возьми, да этой же фразой я обычно отстаивал и свои собственные труды.

— Угу, — согласился Эйб. — Оптимистичный. Особенно мне нравится вот этот оптимистический кусочек: «*Kama Rati kamé/viparita karé rati*». Судя по переводу, это означает: «Обезумевшие от похоти, Кама

и Рати сношаются, как собаки». Мило, ничего не скажешь. Да, Бобби, здесь явно заметна этакая игривость. Что-то вроде раннего Роберта Фроста.

— Это отрывок из бенгальской народной песни, — пояснил я. — Обрати внимание, как Дас вплел ее ритм в весь пассаж. Он переходит от классической ведической формы к народной бенгальской и снова возвращается к ведической. Даже с учетом того, что это перевод, здесь чувствуется усложненный стилистический подход...

Я заткнулся. Я просто повторил то, что услышал от Морроу, а тот, в свою очередь, передал мне то, что узнал от кого-то из своих «консультантов». В маленькой комнатухе было очень жарко. В открытое окно врвался монотонный гул машин и почему-то успокаивающий, далекий звук сирены.

— Ты прав, — заговорил я. — Совершенно не похоже на Даса. Почти невероятно, что такие строки принадлежат перу того же человека, который написал поэму о матери Терезе. По-моему, Даса нет в живых, а это все какое-то надувательство.

Эйб уселся поглубже в свое вращающееся кресло, и я на какое-то мгновение поверил, что он и в самом деле собирается вынуть изо рта огрызок сигары. Вместо этого он насупился, погонял сигару во рту слева направо и обратно, откинулся на спинку и сцепил на затылке короткие пальцы.

— Бобби, а я никогда не рассказывал тебе, как однажды побывал в Калькутте?

— Нет. — Я удивленно моргнул.

Эйб много поездил в бытность свою репортером, пока не написал первый роман, но редко заговаривал о том времени. Приняв у меня когда-то статью о Тагоре, он между прочим заметил, что однажды про-

вел месяцев девять при лорде Маунтбеттене в Бирме. Рассказы его о репортерской работе были редкими, но неизменно интересными.

— Во время войны? — спросил я.

— Нет. Сразу после. Во время волнений в связи с разделом между мусульманами и индусами в тысяча девятьсот сорок седьмом году. Британцы тогда уносили ноги, разрезав Индию на два государства и предоставив возможность двум религиозным группировкам истреблять друг друга. Было это задолго до тебя, верно, Роберто?

— Я об этом читал, Эйб. И ты отправился в Калькутту делать репортажи о волнениях?

— Нет. В то время люди не хотели больше читать про войну. А в Калькутту я поехал, потому что Ганди... Махатма, не Индира... туда собирался, а мы писали о нем. Человек Мира, Святой в Накидке и прочая фигня. Как бы там ни было, в Калькутте я пробыл около трех месяцев.

Эйб умолк и провел рукой по редеющим волосам. Казалось, он не может подобрать слова. Я ни разу не видел, чтобы Эйб затруднялся в речи — писал ли он, говорил или орал.

— Бобби, — после паузы спросил он, — а известно ли тебе, что означает слово «миазмы»?

— Ядовитая атмосфера, — скорее раздраженно, чем озадаченно, ответил я. — Как на болоте. Или еще чем-нибудь отравленная. Происходит слово, вероятно, от греческого «*miainein*», что значит «загрязнять».

— Точно, — подтвердил Эйб, снова погоняя во рту сигару.

Он не обратил внимания на мой небольшой выпендрег. Эйба Бронштейна не удивлял тот факт, что его бывший редактор отдела поэзии знает греческий.

— Так вот, единственное слово, которое могло бы охарактеризовать для меня Калькутту тогда... или сейчас... это «миазм». Я даже слышать не могу одно из этих двух слов, чтобы тут же не вспомнить про другое.

— Город был построен на болоте, — заметил я, все еще чувствуя раздражение. Не привык я выслушивать от Эйба такую бредятину. Как если бы надежный старый сантехник вдруг начал разглагольствовать на темы астрологии. — И поедем мы туда в сезон дождей, то есть не в самое лучшее время года, как я понимаю. Но не думаю, что...

— Да я не про погоду, — перебил Эйб. — Хоть это и самая жаркая, самая влажная, гнусная дыра, что мне только приходилось видеть. Хуже, чем Бирма в сорок третьем. Хуже, чем Сингапур во время тайфуна. Бог ты мой, да это хуже, чем Вашингтон в августе. Нет, Бобби, я говорю не о *месте*, черт бы его побрал. Есть что-то... что-то миазматическое в этом городе. Ни разу не приходилось мне бывать в месте столь подлом или дерьмовом, а бывал я в самых грязных городах мира. Калькутта *испугала* меня, Бобби.

Я кивнул. Из-за жары у меня начиналась головная боль — она уже пульсировала за ушами.

— Эйб, ты проводил время не в тех городах, — легкомысленно сказал я. — Попробуй провести лето в северной Филадельфии или на южной окраине Чикаго, где я рос. После этого Калькутта покажется Городом Веселья.

— Да, — сказал Эйб. На меня он больше не смотрел. — Понимаешь, дело не столько в самом городе. Я хотел убраться из Калькутты, и шеф моего бюро... бедолага, что помер через пару лет от цирроза печени... в общем, этот говнюк дал мне задание осветить открытие моста где-то в Бенгалии. Я хочу сказать, что

там не было еще даже железной дороги, соединяющей два куска джунглей через реку шириной ярдов двести и глубиной дюйма три. Но мост тем не менее был построен на одно из первых денежных поступлений из Штатов после войны. Вот я и должен был освещать открытие. — Эйб замолчал и выглянул из окна. Откуда-то с улицы донеслись сердитые выкрики на испанском. Эйб, казалось, не слышал их. — Так что работенка была не из самых приятных. Проектировщики и строители уже исчезли, а открытие представляло собой обычную мешанину из политики и религии, что для Индии вполне обычно. В тот вечер было слишком поздно возвращаться на джипе — как бы там ни было, я не спешил вернуться в Калькутту, — и я остался в маленькой гостинице на окраине деревни. Возможно, эта деревня ускользнула от глаз британской инспекции во времена раджей. Но ночь была чертовски душной — когда даже пот не стекает с кожи, а висит в воздухе, — а москиты просто сводили меня с ума. В общем, где-то после полуночи я встал с постели и пошел к мосту. Выкурив сигарету, я отправился назад. Если бы не полнолуние, я бы этого не увидел.

Эйб вынул сигару изо рта. Он скривился с таким видом, будто она была такой же противной, как и его физиономия.

— Ребенку вряд ли было больше десяти лет, а может, и меньше. Он висел на куске арматуры, торчавшем из бетонной опоры с западной стороны моста.

Наверное, он умер не сразу и еще некоторое время боролся за жизнь, после того как штыри пронзили его...

— Он что, забирался на новый мост? — спросил я.

— Тогда я так и подумал, — ответил Эйб. — Именно это представители местной власти и сообщили во

время расследования. Но пусть меня повесят, если я могу объяснить, как он умудрился наткнуться на те штыри... Ему пришлось бы оттолкнуться и спрыгнуть с самой верхотуры. Уже потом, через несколько недель, когда господин Ганди закончил поститься, а в Калькутте прекратились волнения, я отправился в тамошний британский консулат, чтобы раздобыть экземпляр повести Кипплинга «Строители моста». Ты ведь читал эту повесть?

— Нет, — ответил я. — Терпеть не могу ни поэзию, ни прозу Кипплинга.

— А стоило, — заметил Эйб. — Малая проза Кипплинга весьма недурна.

— И о чем повесть? — спросил я.

— В общем, она о том, что строительству любого моста приходит конец. А у бенгальцев на этот счет была тщательно разработанная религиозная церемония.

— И в этом нет ничего необычного? — спросил я, почти догадавшись, к чему он клонит.

— Ни капли, — сказал Эйб. — В Индии любому событию посвящена какая-то религиозная церемония. Именно бенгальские обычаи и побудили Кипплинга написать эту повесть. — Эйб сунул сигару обратно в рот и продолжал говорить сквозь сомкнутые зубы: — По окончании строительства любого моста приносили человеческую жертву.

— Правильно, — сказал я. — Великолепно. — Собрав фотокопии, я сунул их в папку и встал, намереваясь уйти. — Если вспомнишь еще что из кипплинговских сказок, обязательно позвони, Эйб. Амрита получит большое удовольствие.

Эйб тоже поднялся, опершись о стол. Его толстые пальцы уткнулись в стопки бумаг.

— Черт бы тебя побрал, Бобби, я бы предпочел, чтобы ты вообще не ввязывался в эти...

— Миазмы, — подсказал я.

Эйб кивнул.

— Буду держаться подальше от новых мостов, — пообещал я, направляясь к двери.

— Как бы там ни было, подумай еще разок, стоит ли брать Амриту с ребенком.

— Мы поедem, — сказал я. — Все решено. Остается один вопрос: хочешь ли ты увидеть вещи Даса, если это Дас, и могу ли я зарезервировать права на издание? Что скажешь, Эйб?

Эйб снова кивнул. Сигару он засунул в забитую пепельницу.

— Я пришлю тебе открытку из бассейна калькутского гранд-отеля «Оберой», — сказал я, открывая дверь.

Я взглянул на Эйба в последний раз. Он стоял, вяло вытянув руку, — то ли махал мне на прощание, то ли просто демонстрировал усталую покорность судьбе.

## 2

Вам хотелось бы знать Калькутту?  
Тогда приготовьтесь забыть ее.

*Сушил Рой*

Ночью накануне вылета мы с Амритой, кормившей Викторию, сидели на террасе нашего дома в Нью-Гемпшире. На фоне темной полосы деревьев мигали огоньки светлячков, словно передававших кому-то свои загадочные послания. Кузнечики, древесные лягушки и несколько ночных птиц влетали свои голоса в ковер фонового ноктюрна. До Эксетера было всего несколько миль, но временами здесь стояла такая тишина, словно мы находились в другом мире. Такую оторванность я ценил, пока сидел за письменным столом — а я провел за ним практически всю зиму, — но теперь ощущал, что меня точит какое-то беспокойство, что именно эти месяцы отшельничества породили во мне страстное желание попутешествовать, увидеть незнакомые места, лица.

— Ты точно хочешь ехать? — спросил я. Мой голос слишком громко прозвучал в ночи.

Амрита подняла глаза, когда ребенок закончил есть. Тусклый свет из окна озарял выступающие скулы Амриты и ее нежную смуглую кожу. Ее темные глаза, казалось, излучают внутреннее сияние. Иногда она была такой красивой, что я испытывал физическую боль при мысли о том, что мы могли бы



не встретиться, не пожениться, не завести ребенка. Она слегка приподняла Викторию, и я успел заметить нежную линию груди и набухший сосок, прежде чем блузка была застегнута.

— Я не прочь слетать, — ответила Амрита. — Очень приятно будет повидать родителей.

— Ну а Индия? Калькутта? Туда-то ты хочешь?

— Я не против, если смогу чем-то помочь.

Уложив мне на плечо сложенную чистую пеленку, она подала мне Викторию. Я погладил дочке спинку и ощутил ее тепло, вдохнул запах молока и детского тельца.

— Ты уверена, что это не помешает твоей работе? — спросил я.

Виктория заворочалась у меня в объятиях, потянувшись пухленькой ручонкой к моему носу. Я подул на ее ладошку, она хихикнула и срыгнула.

— Никаких проблем, — ответила Амрита, однако я понимал, что проблемы будут. После Дня труда она собиралась преподавать математику старшекурсникам в Бостонском университете, и я знал, сколько ей нужно готовиться.

— Ты хочешь снова побывать в Индии? — спросил я.

Виктория придвинула головушку поближе к моей щеке и теперь радостно пускала слюни мне на воротник.

— Любопытно сравнить с той, что я помню, — сказала Амрита.

Голос у нее был нежным, отшлифованным тремя годами учебы в Кембридже, но она никогда не сбивалась на ровное британское произношение. Ее речь напоминала поглаживание твердой, но хорошо смазанной ладонью.

Амрите было семь лет, когда ее отец перевел свою инженерную фирму из Нью-Дели в Лондон. Воспоминания об Индии, которыми она со мной делилась, не выходили за рамки расхожих представлений о культуре, где в одну кучу смешались шум, сумятица и кастовое неравенство. Трудно было представить что-нибудь более чуждое характеру самой Амриты: она воплощала в себе спокойное достоинство, терпеть не могла суету и беспорядок в любых проявлениях, переживала из-за несправедливости, а ее интеллект был вымуштрован упорядоченными ритмами лингвистики и математики.

Амрита однажды рассказывала о своем доме в Дели и квартире дяди в Бомбее, где проводила с сестрами летние месяцы: голые стены с пятнами сажи и застарелыми отпечатками пальцев, открытые окна, грубые простыни, ползающие ночами по стенам ящерицы, беспорядочная дешевость во всем. Наш же дом под Эксетером был чист и открыт, как мечта скандинавского архитектора: повсюду некрашеное дерево, удобное модульное расположение, безукоризненно белые стены и подсвеченные рассеянным светом произведения искусства.

Деньги, позволившие нам иметь этот дом и небольшую коллекцию предметов искусства, принадлежали Амрите. Она называла их шутя своим «приданным». Поначалу я сопротивлялся. В 1969 году, в первый год нашей семейной жизни, я записал в налоговой декларации годовой доход в пять тысяч семьсот тридцать два доллара. К тому времени я оставил преподавание в колледже Уэлсли и занимался исключительно литературным трудом и редактированием. Мы жили в Бостоне, в такой квартире, где даже крысам приходилось ходить пригнувшись. Я ни на что не об-

рашал внимания и ради искусства был готов страдать бесконечно долго. Но Амрита не разделяла моей готовности. Она никогда не спорила, с пониманием отнеслась к моему категорическому отказу использовать средства из ее доверительной собственности, но в 1972 году внесла базовый залог за дом с четырьмя акрами земли и купила первую из девяти наших картин: небольшой этюд маслом Джейми Уайета.

— Заснула, — сказала Амрита. — Можешь не качать.

Я убедился в ее правоте, взглянув на дочь. Виктория спала с открытым ртом, полусжав кулачки. Ее частое дыхание обдувало мне шею. Я продолжал ее покачивать.

— Может быть, занесем ее в дом? — спросила Амрита. — Холодает.

— Одну минутку, — ответил я. Моя ладонь была шире спины ребенка.

Когда Виктория появилась на свет, мне было тридцать пять, а Амрите — тридцать один. Много лет я говорил всем, кто хотел меня слушать, и кое-кому из тех, кто слушать не хотел, о тех чувствах, которые у меня вызывает появление на свет. Упоминал я и о перенаселении, и о том, как жестоко сталкивать младшее поколение с ужасами двадцатого века, и о безрассудстве тех, кто обзаводится нежеланным потомством. И снова Амрита не стала со мной спорить — хотя я подозреваю, что с ее подготовкой в формальной логике она разнесла бы по кочкам все мои аргументы за пару минут, — но где-то в начале 1976 года, приблизительно во время первичных выборов в нашем штате, Амрита в одностороннем порядке отказалась от таблеток. А 22 января 1977 года, через два дня по-

сле того, как Джимми Картер вступил в должность и въехал в Белый дом, у нас родилась дочь Виктория.

Я бы никогда не назвал ее Викторией, но в глубине души очень радовался этому имени. Впервые его предложила Амрита, в один прекрасный жаркий июльский день, и мы отнеслись к этому как к шутке. Кажется, одним из самых ранних ее воспоминаний было то, как она приезжает в Бомбей на вокзал «Виктория». Это громадное сооружение — один из уцелевших памятников британского владычества, и поныне, по всей видимости, продолжающего оказывать влияние на Индию, — всегда вызывало у Амриты благоговение. С той поры имя Виктория всегда ассоциировалось в ее душе с красотой, изяществом и чем-то таинственным. Так что поначалу мы просто шутили насчет того, что малышку назовем Викторией, но к Рождеству 1976 года мы уже знали, что никакое другое имя не подойдет нашему ребенку, если это будет девочка.

До рождения Виктории я имел обыкновение выражать недовольство теми нашими знакомыми парами, которые, как мне казалось, отупели после рождения детей. Люди с отточенным интеллектом, прежде наслаждавшиеся вместе с нами нескончаемыми разговорами о политике, прозе, о смерти театра, о закате поэзии, теперь бубнили только о первом зубе своего мальчика или часами делились захватывающими подробностями первого дня маленького Хэзера в подготовительном классе. Я поклялся, что никогда не опущусь до этого.

Но с нашим ребенком все было иначе. Развитие Виктории было достойно самого серьезного изучения. Оказалось, что я совершенно заморожен первыми же издаваемыми ребенком звуками и ее самыми

неуклюжими движениями. Даже тягостная процедура смены пеленок могла вызывать самые приятные чувства, когда моя девочка — мой ребенок! — размахивала пухленькими ручками и смотрела на меня с таким выражением, которое я принимал за изъяснение любви и оценки по достоинству того, что ее отец — печатающийся поэт — снисходит ради нее до таких мирских забот. Когда в возрасте семи недель она однажды утром одарила нас первой улыбкой, я тут же позвонил Эйбу Бронштейну, чтобы поделиться столь замечательной новостью. Эйб, привычка которого не вставать раньше половины одиннадцатого утра была известна не меньше, чем его чутье на хорошую прозу, поздравил меня и мягко заметил, что на часах всего лишь пять сорок пять.

Теперь Виктории исполнилось уже семь месяцев, и стало еще более очевидно, что ребенок она одаренный. Уже с месяц, как она научилась играть в «козу», а за несколько недель до того освоила прятки. В шесть с половиной месяцев она начала ползать — верный признак высокого интеллекта, хоть Амрита и утверждала обратное, — и меня совершенно не волновало, что при попытках ползти вперед Виктория почему-то неизменно двигалась в противоположном направлении. С каждым днем все отчетливее проявлялись ее лингвистические способности, и хоть мне никак не удавалось выделить из потока звуков «папа» или «мама» (даже когда я прокручивал запись на вдвое меньшей скорости), Амрита уверяла меня с еле заметной улыбкой, что она уже слышала от дочери целые русские и немецкие слова, а однажды даже целую фразу на хинди. А между тем я каждый вечер читал Виктории вслух, перемежая «Сказки матушки Гусыни» Уордсвортом, Китсом и тщательно отобранными

отрывками из «Кантос» Паунда. Явное предпочтение она оказывала Паунду.

— Не пойти ли нам спать? — спросила Амрита. — Завтра надо встать пораньше.

Что-то в ее голосе привлекло мое внимание. Иногда она говорила: «Не пойти ли нам спать?», а иногда: «*Не пойти ли нам спать?*» На этот раз прозвучал второй вариант.

Я отнес Викторию в кроватку и с минуту постоял рядом, наблюдая, как она в окружении мягких игрушек лежит на животике под легким одеяльцем, положив голову на подушечку. Лунный свет падал на нее как благословение.

Потом я спустился, запер двери, выключил свет и вернулся наверх, где Амрита уже ждала меня в постели.

Позже, в заключительные мгновения нашей близости, я повернулся, чтобы заглянуть ей в лицо, как бы пытаюсь отыскать там ответ на невысказанные вопросы... Но на луну набежала туча, и все скрылось во внезапно наступившей темноте.

В полночь этот город — Диснейленд.

*Субрата Чакраварти*

В Калькутту мы прилетели в полночь, зайдя на посадку с юга, со стороны Бенгальского залива.

— Бог ты мой!.. — прошептал я, и Амрита перегнулась со своего места, чтобы выглянуть из иллюминатора.

По совету ее родителей мы воспользовались самолетом ВОАС и долетели до Бомбея, чтобы пройти таможенный контроль там. Все шло отлично, но внутренний рейс «Эйр-Индия» до Калькутты был по техническим причинам отложен на три часа. В конце концов нам разрешили подняться на борт, чтобы еще час проторчать рядом с терминалом, в то время как в салоне не работали ни освещение, ни кондиционер, потому что были отсоединены внешние источники питания. Какой-то бизнесмен, сидевший впереди, заметил, что рейс Бомбей—Калькутта задерживается каждый день на протяжении трех недель из-за конфликта между пилотом и бортинженером.

Уже в воздухе мы отклонились от маршрута далеко на юг из-за сильной грозы. Почти весь вечер Виктория вела себя беспокойно, но сейчас спала на руках у матери.

— Бог ты мой, — снова произнес я.

Под нами раскинулись 250 квадратных миль территории Калькутты — море огней после полной темноты заоблачных высот и Бенгальского залива. Во многие города мне приходилось прилетать по ночам, но ничего подобного я еще не видел. Здесь не было привычных правильных рядов электрических огней: Калькутта в полночь светилась бесчисленными фонарями, открытым огнем и странным неярким сиянием, исходящим из тысяч невидимых источников и напоминавшим фосфоресцирующие грибы. Вместо пересекающихся прямых линий упорядоченной городской планировки — с улицами, шоссе, автостоянками — мириады хаотически разбросанных огней Калькутты были перемешаны в беспорядочную кучу и походили на некое созвездие, разорванное лишь темным изгибом реки. Мне представилось, что именно такими — горящими — во время войны выглядели Лондон или Берлин в глазах потрясенных экипажей бомбардировщиков.

Потом колеса коснулись земли, в прохладный салон ворвался насыщенный влагой воздух и мы вышли, став частью шаркающей компании, бредущей к багажному отделению. Аэропорт был небольшим и грязным. Несмотря на позднее время, повсюду сновали шумные скопища потных людей.

— А нас никто не должен встретить? — спросила Амрита.

— Должен, — ответил я, выхватывая четыре сумки с потрепанной ленты транспортера.

Мы встали рядом с ними, в то время как толпа накатывала и откатывалась, подобно приливным волнам. От мужчин в белых рубашках и женщин в сари, сгрудившихся в небольшом здании, исходили импульсы какой-то истерии.



— Морроу связался с Союзом бенгальских писателей. Была договоренность, что некто по имени Майкл Леонард Чаттерджи отвезет нас в отель. Но мы задержались на несколько часов. Наверное, он уже уехал домой. Я попробую найти такси.

Бросив взгляд в сторону выхода, я увидел, что он забит толкающимися, орущими людьми, и остался рядом с сумками.

— Мистер и миссис Луцак. Роберт Луцак?

— Лу-зак, — машинально поправил я. — Да, я Роберт Лузак.

Я оглядел человека, который пробился к нам. Он был высок, худощав, в грязно-коричневых штанах и белой рубашке, казавшейся серой и не слишком чистой при зеленоватом флуоресцентном освещении. Внешне он выглядел довольно молодо — где-то под тридцать, пожалуй. Гладко выбрит, но черные волосы торчали огромными наэлектризованными пучками, а пронзительный взгляд темных глаз производил впечатление такой силы, что это граничило с ощущением сдерживаемой страсти к насилию. Его темные густые брови почти срослись над хищным ястребиным носом. Отступив на полшага, я поставил сумку, чтобы освободить правую руку.

— Мистер Чаттерджи?

— Нет, я не видел мистера Чаттерджи, — ответил он пронзительным голосом. — Меня зовут М. Т. Кришна. — Поначалу из-за шума толпы и напевного акцента мне послышалось «пустой Кришна»<sup>1</sup>.

Я протянул руку, но Кришна повернулся и пошел вперед по направлению к выходу. Правой рукой он раздвигал толпу.

<sup>1</sup> Инициалы М. Т. созвучны в английском языке прилагательному empty — пустой, бессодержательный. — *Здесь и далее примеч. ред.*

— Сюда, пожалуйста. Быстрее, быстрее.

Кивнув Амрите, я поднял три сумки. Невероятно, но Виктория, несмотря на жару и сумасшедшую толчею, продолжала спать.

— Вы из Союза писателей? — спросил я.

— Нет-нет. — Отвечая, Кришна даже не повернул головы. — Я, видите ли, работаю преподавателем на неполной ставке. И поддерживаю связь с Американским фондом образования в Индии. К моему инспектору, мистеру Шаху, обратился его очень хороший и давний друг, мистер Бронштейн из Нью-Йорка, который попросил меня оказать эту любезность. Быстрее.

На улице воздух показался еще более тяжелым и влажным, чем в наполненном испарениями помещении. Над дверями терминала прожектора высвечивали серебристую надпись.

— Аэропорт «Дум-Дум», — вслух прочитал я.

— Да-да. Именно здесь делали эти пули, пока они не были запрещены после Первой мировой войны, — пояснил Кришна. — Сюда, пожалуйста.

Внезапно мы оказались в окружении десятка носильщиков, помогающих возможности отнести нашу немногочисленную поклажу, — тощих, как стебли тростника, голоногих, завернутых в коричневое тряпье. Один из них был однорукий. Другой выглядел так, будто пережил страшный пожар: кожа у него на груди спеклась большими складками шрамов. Очевидно, он не мог говорить, хотя из покаленного горла и вырывались требовательные булькающие звуки.

— Отдайте им багаж, — бросил Кришна. Он сделал повелительный жест, в то время как носильщики лезли друг на друга, чтобы добраться до сумок.

Нам пришлось пройти лишь около шестидесяти футов по закругляющейся дорожке. Насыщенный влагой воздух был темен и тяжел, как промокшее армейское одеяло. Потеряв на какую-то секунду ориентацию, я решил, что идет снег, так как воздух казался наполненным белыми хлопьями; лишь потом я сообразил, что это миллионы насекомых кружатся в лучах прожекторов аэропорта. Кришна махнул носильщикам и показал на машину. Я остановился в изумлении.

— Микроавтобус? — спросил я, хотя бело-голубой машине больше подошло бы название «раздолбаный драндулет». Вдоль борта шла надпись USEFI.

— Да-да-да. Удалось раздобыть только это. Теперь побыстрее.

Один из носильщиков, проворством напоминающий обезьяну, забрался сзади на крышу автобуса. Все наши четыре сумки были поданы наверх и закреплены на багажнике. Когда через багаж перебросили черную пластиковую ленту, у меня мелькнула невольная мысль: а почему нельзя было уложить все в салон? Пожав плечами, я вытащил две бумажки по пять рупий, чтобы дать носильщикам. Кришна забрал у меня из руки деньги и вернул мне одну бумажку.

— Нет. Слишком много, — сказал он.

Я снова пожал плечами и помог Амрите войти в салон. Из-за криков возбужденных носильщиков Виктория все-таки проснулась и теперь присоединила свой визг к общей суматохе. Кивнув сонному водителю, мы уселись на места справа. Кришна стоял у двери и переругивался с тремя носильщиками, которые несли наши вещи. Амрита не в полной мере поняла поток бенгальской речи, но все же сумела разобрать, что носильщики расстроены из-за невозможности

поделить пять рупий на троих и требуют еще одну. Кришна крикнул что-то и стал закрывать дверцу автобуса. Старейший из носильщиков, лицо которого представляло собой лабиринт глубоких морщин, поросших седой щетиной, вышел вперед и встал на пути закрывающейся двери. Остальные носильщики переместились со своего места рядом с входом в здание аэропорта. Крики перешли в вопли.

— Ради бога, — сказал я Кришне, — вот, возьмите, дайте им еще несколько рупий. Поехали отсюда.

— Нет! — Взгляд Кришны метнулся в мою сторону, и на этот раз ярость в нем уже не сдерживалась. Такое выражение можно наблюдать на лицах тех, кто участвует в кровавых развлечениях. — Слишком много, — твердо заявил он.

Теперь у двери стояла целая ватага носильщиков. Вдруг они захлопали ладонями по борту автобуса. Водитель выпрямился и нервно поправил кепку. Старик в дверном проеме поднялся на нижнюю ступеньку, будто собирался войти в салон, но Кришна приставил три пальца к его обнаженной груди и резко толкнул. Старик упал спиной в море силуэтов в коричневых одеяниях.

В приоткрытое стекло рядом с Амритой вдруг сцепились шишковатые пальцы, и на нем, как на перекладине, подтянулся носильщик с обожженным лицом. Его губы отчаянно шевелились в нескольких дюймах от нас, и мы разглядели, что у него не было языка. На запыленное окно брызгала слюна.

— Черт возьми, Кришна! — Я приподнялся, чтобы дать носильщикам деньги.

Тут из тени вышли трое полицейских. Они носили белые шлемы, ремни под Сэма Брауна и шорты цвета хаки. Двое из них держали в руках латхи — ин-

дийский вариант полицейской дубинки: трехфутовые палки из тяжелого дерева с металлическим сердечником в рабочем конце.

Толпа носильщиков продолжала шуметь, но расступилась, чтобы пропустить полицейских. Лицо со шрамами исчезло из окна со стороны Амриты. Первый полицейский стукнул палкой по радиатору машины, и старый носильщик повернулся к нему, чтобы выкрикнуть свои жалобы. Полицейский поднял свое смертоносное орудие и что-то рывкнул в ответ. Кришна воспользовался представившейся возможностью и повернул ручку, запиравшую дверцу автобуса. Он бросил пару слов водителю, и мы двинулись, набирая скорость, по темной дорожке. По задней стенке автобуса гроыхнул брошенный камень.

Затем мы покинули территорию аэропорта и выехали на пустую четырехрядную трассу.

— VIP-шоссе! — крикнул Кришна, не отходя от двери. — Ездят только очень важные персоны.

Справа промелькнул выцветший щит. Незатейливая надпись на хинди, бенгали и английском гласила: «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАЛЬКУТТУ».

Мы ехали с выключенными фарами, но внутреннее освещение в автобусе продолжало гореть. Вокруг чудесных глаз Амриты легли темные тени усталости. Виктория — слишком измотанная, чтобы спать, утомленная от плача — потихоньку хныкала на руках у матери. Кришна сел боком впереди от нас. Ястребиный профиль его сердитого лица освещался лампочками над головой и редкими уличными фонарями.

— Я учился в университете в Штатах почти три года, — сообщил он.

— Правда? — откликнулся я. — Как интересно.

Мне хотелось врезать по физиономии этому тупому сукиному сыну за устроенную им бучу.

— Да-да. Я работал с черными, чиканос, краснокожими индейцами. Угнетенными людьми вашей страны.

Болотистые темные поля, окружавшие шоссе, внезапно уступили место беспорядочному скоплению лацуг, подступавших прямо к обочине. Сквозь джутовые стены просвечивали фонари. В отдалении, у костров, на фоне желтого пламени судорожно двигались резко очерченные силуэты. Без заметного перехода мы выехали из сельской местности и теперь крутились по узким, залитым дождем улочкам, проходившим мимо кварталов заброшенных многоэтажек, протянувшихся на многие мили трущоб с крышами из жести и бесконечных рядов обветшалых, почерневших фасадов лавок.

— Мои профессора были глупцы. Консервативные глупцы. Они думали, что литература состоит из мертвых слов в книгах.

— Да, — произнес я, не имея представления, о чем толкует Кришна.

Улицы были затоплены. Местами вода поднималась на два-три фута. Под рваными навесами полулежали, спали, сидели на корточках закутанные фигуры и смотрели на нас глазами, в которых виднелись лишь белки, окруженные тенью. В каждом переулке взгляду представали открытые помещения, резко освещенные дворы, тени, передвигающиеся среди теней. Какому-то хилому человечку, толкавшему тяжело груженную тележку, пришлось отскочить в сторону от нашего автобуса, обдавшего его самого и его груз водяной завесой. Он потрясал кулаком, изрыгал неслышные нам проклятия.

Здания выглядели гораздо старше своего истинного возраста и казались некими заброшенными осколками какого-то давно забытого тысячелетия — еще до появления человека, — поскольку все эти тени, углы, проемы и пустоты отнюдь не походили на произведения архитектуры. И все же на каждом втором или третьем этаже в открытых окнах этих друидских жертвенников мелькали свидетельства присутствия человека: покачивающиеся неприкрытые лампочки, дергающиеся головы, ободранные стены с отвалившейся от белых ребер зданий штукатуркой, аляповатые картинки с многорукими божествами, выдранные из журналов и криво наклепленные на стены или окна... Слышались крики играющих, носящихся по темным переулочкам ребятишек, почти неслышное хныканье младенцев — и повсюду, куда ни кинешь взгляд, суматошное движение, шуршание автобусных покрышек по раскисшей глине и гудрону, закутавшиеся фигуры, будто трупы, лежащие в тени тротуаров. Меня охватило ужасное ощущение уже виденного.

— Я ушел с омерзением, когда один дурак-профессор не стал брать мою работу о долге Уолта Уитмена перед дзен-буддизмом. Высокомерный провинциальный дурак.

— Да, — сказал я. — Как вы думаете, нельзя ли выключить внутреннее освещение?

Мы подъезжали к центру города. Гниющие трушобы уступили место строениям покрупнее, еще более гнилого вида. Уличные фонари попадались редко. Слабые отблески зарниц отражались в глубоких черных лужах, растекшихся на перекрестках. Казалось, что перед каждым темным фасадом лавки лежали или приподнимались посмотреть на приближающийся автобус закутанные в тряпье фигуры, напоминавшие тюки

невостребованного белья в прачечной. В желтом свете внутри автобуса мы выглядели как бледные трупы. Теперь я понимал, что должны чувствовать военнопленные, которых провозят по улицам вражеской столицы.

Впереди в круге черной воды на ящике стоял мальчик и, как мне показалось, крутил за хвост дохлого кота. Он швырнул его в подъехавший автобус, и только тогда, когда покрытая шерстью тушка с глухим звуком отскочила от ветрового стекла, я сообразил, что это была крыса. Водитель выругался и направил машину на ребенка. Мальчик отпрыгнул, мелькнув коричневыми пятками, а ящик, на котором он стоял, разлетелся под правым колесом.

— Вы понимаете, конечно, потому что вы поэт, — продолжал Кришна, ощерив мелкие, острые зубки.

— Как насчет освещения? — спросил я, чувствуя, что начинаю закипать. Амрита коснулась моей руки левой ладонью.

Кришна бросил что-то по-бенгальски. Водитель пожал плечами и буркнул в ответ.

— Выключатель сломан, — пояснил Кришна.

Мы выехали на открытое пространство. То, что могло быть парком, жирной черной линией рассекало лабиринт покосившихся строений. Посреди захлавленной площади стояли два заброшенных трамвая, а рядом с ними под провисшим навесом сгрудились с десятков семейств. Снова начинался дождь. Внезапно обрушившийся ливень колотил, словно кулаками, с неба по железу автобуса. Щетка была лишь со стороны водителя, и она лениво боролась с водяной завесой, которая вскоре отделила нас от города сплошной пеленой.

— Мы должны поговорить о мистере М. Дасе, — сказал Кришна.



Я моргнул.

— Я хочу, чтобы свет был выключен, — медленно и отчетливо произнес я. Иррациональная ярость накапливалась во мне с самого аэропорта. Через секунду я уже не сомневался, что придушу этого ограниченного, бесчувственного идиота: буду душить, пока эти лягушачьи глаза не вылезут из его дурацкой башки. Я ощущал, что злость, как тепло от крепкого алкоголя, растекается по телу. Амрита, должно быть, почувствовала, что я вот-вот взбешусь, поскольку ее пальцы сжались на моей руке, как клещи.

— Очень важно, чтобы я поговорил с вами о мистере М. Дасе, — сказал Кришна.

Духота в автобусе была почти невыносимой. Пот застывал на лице, как волдыри от ожога. Наше дыхание, казалось, зависло в воздухе облаком пара, в то время как мир вокруг оставался сокрытым за стеной грохочущего ливня.

— Я выключу этот проклятый свет, — проговорил я и начал подниматься. Если б не Виктория, Амрита вцепилась бы в меня сзади обеими руками.

Кришна удивленно поднял широкие брови, когда я навис над ним. Правую руку я высвободил как раз в тот момент, когда Амрита сказала:

— Уже не имеет значения, Бобби. Мы приехали. Смотри, вот отель.

Я застыл и наклонился, чтобы выглянуть в окно. Ливень прекратился так же внезапно, как и начался, и лишь слегка моросило. Моя злость улетучилась вместе с затихающим стуком дождя по крыше.

— Мы, наверное, поговорим попозже, мистер Лузак, — настаивал на своем Кришна. — Это весьма важно. Наверное, завтра.

— Хорошо.

Я взял Викторию на руки и первым вышел из автобуса.

Сумрачный фасад гранд-отеля «Оберой» напоминал гранитную скалу, но из-за двойных дверей проникало немного света. Потрепанный тент доходил до бордюра. На другой стороне улицы стояли с десяток молчаливых темных фигур под лоснящимися от дождя зонтами. Некоторые из них держали намокшие плакаты. На одном я разглядел серп и молот и английское слово «НЕСПРАВЕДЛИВО».

— Забастовщики, — пояснил Кришна и щелкнул пальцами сонному швейцару в красном жилете.

Я пожал плечами. Линия пикета перед черным фасадом отеля в полвторого ночи в залитой муссонным дождем Калькутте меня не удивила. За предыдущие полчаса ощущаемая мной реальность уже не раз теряла очертания. Какой-то гул, вроде звука скребущихся лапок бесчисленных насекомых, стоял в ушах. «Последствия перелета», — подумал я.

— Спасибо, что подвезли, — поблагодарила Амрита, когда Кришна запрыгнул обратно в автобус.

Он ответил гримасой акульского детеныша.

— Да-да. Я поговорю с вами завтра. Спокойной ночи. Спокойной ночи.

Вход в отель, как оказалось, представлял собой несколько темных коридоров, которые неким защитным лабиринтом отделяли вестибюль от улицы. В самом вестибюле было довольно светло. Щеголеватый клерк выглядел отнюдь не сонным и выразил радость, увидев нас. Да, места для мистера и миссис Лузак бронированы именно здесь. Да, они получили наш телекс насчет задержки. Пожилой носильщик успел поагукать Виктории, пока мы поднимались в лифте на шестой этаж. На прощание я дал ему десять рупий.

Наш номер был таким же пещерообразным и темным, как и все остальное в этом городе, но зато сравнительно чистым, а на двери имелся массивный засов.

— О нет! — раздался из ванной голос Амриты.

Я в три прыжка оказался там, ощущая, как колотится сердце.

— Здесь нет полотенец, — сообщила Амрита. — Только салфетки.

И тут мы оба начали смеяться. Если кто-то из нас останавливался, то другой мгновенно заливался хохотом снова.

Десять минут у нас ушло, чтобы устроить на пустой кровати гнездышко для Виктории, содрать с себя пропотевшую одежду, наскоро ополоснуться и вдвоем заползти под тонкое покрывало. Кондиционер почавкивал и глухо похрипывал. Где-то рядом слышался взрывной звук спускаемой воды. Пульсирующий гул у меня в ушах был отголоском реактивных двигателей самолета.

— Сладких снов, Виктория, — сказала Амрита.

Девочка тихонько бормотала во сне.

Мы заснули через две минуты.

И на большом дворе после прорыва местных барьеров Законченное общение между людьми, приятные шатания начинаются.

*Пурнendu Патри*

— В утреннем свете все выглядит гораздо лучше, — сказала Амрита.

Мы завтракали в кафе «Сад» при отеле. Виктория счастливо гукала на высоком стульчике, который принес услужливый официант. Кафе располагалось рядом с садиком во внутреннем дворе. Весело перекликались рабочие на лесах.

Я пил чай, жевал горячую сдобу и читал калькутскую газету на английском. Передовица призывала к более современной транзитной системе. В рекламных объявлениях предлагались сари и мотоциклы. Улыбающаяся индийская семья поднимала бутылки с кока-колой. Рядом на этой же странице была помещена сделанная крупным планом фотография трупа — разлагающегося, с напоминающим взорвавшуюся крышку лицом, с выпученными остекленевшими глазами. Тело было обнаружено в невостребованном стальном сундуке на железнодорожной станции Хоура как раз вчера — во вторник, 14 июля. Каждому, кто мог бы помочь в опознании, предлагали обратиться к инспектору полиции отделения станции Хоура и сослаться на дело № 23 от 14.7.77 ц/s 302/301 I. P. C. (S. R. 39/77).

Сложив газету, я бросил ее на стол.

— Мистер Лузак? Доброе утро!

Я поднялся, чтобы пожать руку подошедшему к нам индийскому джентльмену средних лет — низенькому, светлокожему, почти лысому, в очках с толстыми стеклами в роговой оправе. На нем был безупречный тропический костюм из шерстяной ткани, а рукопожатие его отличалось деликатностью.

— Меня зовут Майкл Леонард Чаттерджи, — представился он. — Весьма приятно познакомиться с вами, мистер Лузак.

Слегка поклонившись, он взял Амриту за руку.

— Мои самые искренние извинения, за то что не встретил вас в аэропорту ночью. Мой шофер ошибочно сообщил мне, что бомбейский рейс задерживается до утра.

— Ничего страшного, — ответил я.

— Но ведь это прискорбно и негостеприимно — не встретить и не принять должным образом. Прошу у вас прощения. Мы очень рады, что вы уже здесь.

— Кто это «мы»? — спросил я.

— Присаживайтесь, прошу вас, — пригласила Амрита.

— Спасибо. Какое красивое дитя! У нее ваши глаза, миссис Лузак. А «мы» — это Союз писателей Бенгалии, мистер Лузак. Мы постоянно держим контакт с мистером Морроу, следим за его прекрасными публикациями и надеемся поделиться с вами последними работами лучшего в Бенгалии... нет, в Индии поэта.

— Значит, мистер Дас все еще жив?

Чаттерджи мягко улыбнулся.

— О, в этом нет никаких сомнений, мистер Лузак. За последние шесть месяцев мы получили от него немало писем.

— Но вы его видели? — продолжал я давить. — Вы уверены, что это мистер Дас? Почему он исчез на восемь лет? Когда я смогу с ним встретиться?

— Всеу свое время, мистер Лузак, — сказал Майкл Леонард Чаттерджи. — Всеу свое время. Я организовал для вас ознакомительную встречу с исполнительным комитетом нашего Союза писателей. В два часа дня вас устроит? Или вы с миссис Лузак желаете сегодня отдохнуть и осмотреть город?

Я взглянул на Амриту. Мы уже договорились, что если мне не понадобится переводчик, то она останется с Викторией в отеле и отдохнет.

— Сегодня в два вполне устроит, — ответил я.

— Чудесно, чудесно. В половине второго я пришло за вами машину.

Мы смотрели, как Майкл Леонард Чаттерджи покидает кафе. Позади нас рабочие на бамбуковых лесах весело перекликались со служащими отеля, проходившими по садику. Виктория громко забарабанила по столику на своем стульчике и присоединилась к общему веселью.

На площади через улицу от отеля стоял щит с рекламой Объединенного банка Индии. Картинки там не было, лишь черные буквы на белом фоне: «Калькутта: Культурная столица страны? — Символ непристойности?» Мне показался странным такой способ рекламировать банк.

Машина была небольшим черным «Премьером» с водителем в кепке и шортах цвета хаки. Мы двинулись по Чоурингхи-роуд, и, пока пробивались сквозь напряженное движение, у меня появилась возможность разглядеть Калькутту при свете дня.

Сумасшедшая круговерть вокруг производила почти потешное впечатление. Пешеходы, армады велосипедистов, восточного вида рикши, автомобили, украшенные свастиками грузовики, бесчисленные мопеды и поскрипывающие повозки, запряженные волами, — все это боролось и сражалось за нашу узенькую полосу разбитой мостовой. Свободно расхаживавшие коровы то останавливали движение, то просовывали головы в лавки, то пробирались через кучи мусора, наваленного по бордюрам или посреди проезжей части. В одном месте отбросы окаймляли улицу на протяжении трех кварталов подобием вала высотой по колено. Люди тоже ползали по этим кучам, соперничая с коровами и воронами за кусочки чего-нибудь съедобного.

Чуть дальше улицу переходили гуськом школьницы в строгих белых блузках и синих юбках, в то время как полицейский с коричневым ремнем остановил для них транспортный поток. На следующем перекрестке доминировал небольшой красный храм, стоявший точно посередине улицы. С проводов и обветшалых фасадов свисали красные флаги. И повсюду — непрерывное движение коричневокожих людей — почти приливный поток спящих, облаченных в белые и светло-коричневые одеяния местных жителей, от влажного дыхания которых, казалось, стучается сам воздух.

Калькутта в светлое время производила сильное, пожалуй, слегка пугающее впечатление, но не вызвала того необъяснимого страха или гнева, что накануне ночью. Прикрыв глаза, я попытался проанализировать ярость, охватившую меня в автобусе, но жара и шум не позволили мне сосредоточиться. Казалось, все велосипедные звонки на свете слились с автомо-

бильными сигналами, криками и нарастающим шепотом самого города для того, чтобы воздвигнуть стену из шума, ощущавшегося почти физически.

Союз писателей помещался в сером неуклюжем строении рядом с площадью Далхаузи. У подножия лестницы меня встретил мистер Чаттерджи и проводил на третий этаж. С закопченного потолка большой комнаты без окон на нас смотрели выцветающие фрески, а от покрытого зеленым сукном стола на меня обратили взгляды семеро людей.

Нас представили друг другу. Я и в более благоприятных условиях плохо запоминаю имена, а тут и вовсе почувствовал что-то вроде головокружения, пытаюсь соотнести длинные бенгальские созвучия с коричневыми интеллигентными лицами. Единственную присутствовавшую там женщину с усталым лицом и седыми волосами, постоянно поправлявшую на плече тяжелое зеленое сари, звали, кажется, Лила Мина Басу Беллиаппа.

Первые несколько минут разговора оказались нелегкими из-за разницы в произношении. Я обнаружил, что стоит расслабиться и позволить потоку напевного индийского английского омыть меня, как смысл сказанного довольно быстро становится понятным. Прерывистый ритм их речи оказывал странно успокаивающее, почти гипнотическое воздействие. Внезапно из тени появился официант в белой куртке и подал всем выщербленные чашки, наполненные сахаром, буйволовым молоком и небольшим количеством чая. Я сидел между женщиной и директором исполнительного совета, неким мистром Гуптой — высоким человеком среднего возраста с тонкими чертами лица и грозно выступающими верхними клыками. Я невольно пожалел, что со мной



нет Амриты. Ее бесстрастность послужила бы буфером между мной и этими эксцентричными незнакомцами.

— Полагаю, что мистер Лузак должен выслушать наше предложение, — неожиданно заговорил Гупта.

Остальные кивнули. Как по сигналу погас свет.

В помещении без окон наступила крошечная тьма. Из разных концов здания слышались крики, а потом принесли свечи. Перегнувшись через стол, мистер Чаттерджи заверил меня, что это самое обычное происшествие. По всей видимости, когда в каких-то частях города потребление электроэнергии превышало норму, электричество отключалось.

Темень и сияние свечей каким-то образом усиливали жару. Я почувствовал легкое головокружение и уцепился за край стола.

— Мистер Лузак, вы отдаете себе отчет в уникальности привилегии получить шедевр такого великого бенгальского поэта, как М. Дас? — Пронзительный голос мистера Гупты напоминал звук гобоя. Тяжелые ноты повисали в воздухе. — Даже мы еще не видели окончательный вариант его произведения. Надеюсь, что читатели вашего журнала по достоинству оценят оказанную им честь.

— Безусловно, — откликнулся я. С кончика носа мистера Гупты свисала капелька пота. Неверный свет свечей отбрасывал наши тени четырнадцатифутовой высоты. — А вы получали еще какие-нибудь рукописи от мистера Даса?

— Пока нет, — ответил Гупта. Его темные влажные глаза полускрывались под тяжелыми веками. — Наш комитет должен вынести окончательное решение по размещению англоязычной версии его эпического произведения.

— Я хотел бы встретиться с мистером Дасом, — сказал я.

Сидевшие за столом переглянулись.

— Это не представляется возможным.

Заговорила женщина. Ее высокий визгливый голос походил на скрежет ножовки по металлу. Раздражающие гундосые звуки никак не стыковались с ее почтенной наружностью.

— Отчего же?

— М. Дас недоступен уже много лет, — ровным голосом пояснил Гупта. — Некоторое время мы даже считали его умершим. И уже оплакали потерю национального сокровища.

— А откуда вам известно, что он жив сейчас? Его кто-нибудь видел?

Снова наступило молчание. Свечи уже наполовину сгорели и отчаянно трещали, хотя в комнате не ощущалось ни малейшего дуновения. Из-за страшной жары меня слегка подташнивало. На какое-то мгновение в голове промелькнула дикая мысль, что свечи догорят, а мы будем продолжать разговор во влажной темноте — бесплотные духи, посещающие ветхое здание во чреве мертвого города.

— У нас имеется корреспонденция, — ответил наконец Майкл Леонард Чаттерджи. Он извлек из портфеля с полдюжины хрустящих конвертов. — Она подтверждает с несомненной убедительностью, что наш друг все еще живет среди нас.

Чаттерджи послуныявил пальцы и пролистал плотную пачку тонкой почтовой бумаги. При тусклом освещении строки индийских букв напоминали магические руны, какие-то зловещие заклęcia.

В доказательство своих слов мистер Чаттерджи зачитал вслух несколько выдержек. Там спрашивалось

о родственниках, упоминались общие знакомые. Был и вопрос к мистеру Гупте по поводу короткого стихотворения Даса, оплаченного много лет назад, но так и не опубликованного.

— Хорошо, — сказал я. — Но для моей статьи очень важно, чтобы я лично увидел мистера Даса и смог бы...

— Прошу прощения, — перебил меня мистер Чаттерджи, подняв руку. В стеклах его очков, в той точке, которая находилась напротив зрачков, отражались двойные огоньки. — Надеюсь, следующие строки объяснят, почему это невозможно.

Он сложил листок, прокашлялся и стал читать:

— «...Итак, сами видите, друг мой, меняется все, но не люди. Я вспоминаю один день в июле 1969 года.

Это было во время праздника Шивы. В “Таймс” сообщили, что люди оставили следы на Луне. Я возвращался из деревни моего отца: это место, где люди вот уже пять тысяч лет оставляют следы на земле за своими рабочими быками. В деревнях, мимо которых проезжал наш поезд, крестьяне выбивались из сил, протаскивая через грязь свои священные колесницы.

На обратном пути в наш возлюбленный город посреди шумной толпы меня все время терзала мысль о том, какой пустой и тщетной была вся моя жизнь. Отец мой прожил долгую и полезную жизнь. Каждый житель его деревни — будь то брахман или харьян — пожелал присутствовать при его сожжении. Я проходил через поля, которые мой отец орошал, возделывал, отвоевывал у капризной природы задолго до моего рождения. После похорон я оставил братьев и удалился под сень огромного баньяна, посаженного отцом еще в юности. Повсюду вокруг меня были свидетельства трудов моего отца. Казалось, сама земля скорбит о его кончине.

А что, спрашивал я себя, сделал я? Через несколько недель мне исполнится пятьдесят четыре года, а во имя чего я прожил свою жизнь? Написал несколько стихотворений, радовал своих коллег и раздражал некоторых критиков. Я соткал паутину иллюзий, убедив себя в том, что продолжаю традиции нашего великого Тагора. Но впоследствии сам запутался в собственной паутине обмана.

К тому времени, когда мы достигли станции Хоура, я уже увидел всю пустоту своей жизни и творчества. Более тридцати лет я жил и работал в нашем возлюбленном городе — сердце и драгоценном камне Бенгалии, — и никогда мои жалкие труды не выражали, более того, даже не содержали намека на сущность этого города. Я пытался определить душу Бенгалии, описывая ее самые поверхностные черты, пришельцев из других краев и ее наименее честное лицо. Как если бы я попытался описать душу красивой и одаренной женщины, перечисляя детали ее одежды, взятых напрокат.

Ганди однажды сказал: “Человек не может жить полноценно, если он не умирал хотя бы раз”. Покидая свой вагон первого класса на станции Хоура, я уже осознал неопровержимость этой великой истины. Чтобы жить — в своей душе, в своем искусстве, — я должен избавиться от всего принадлежащего моей старой жизни.

Я отдал оба своих чемодана первому попавшемуся нищему. Мне до сих пор приятно вспоминать его изумленный вид. Не имею ни малейшего представления, что он сделал потом с льняными рубашками, парижскими галстуками и множеством взятых мною книг.

По мосту Хоура вошел я в город, зная лишь одно: я умер для своей старой жизни, умер для своего ста-

рого дома и прежних привычек и, конечно, умер для всех, кого любил. Лишь заново войдя в Калькутту — как около тридцати трех лет назад вошел я в нее исполненным надежд, заикающимся юношей из небольшой деревушки, — смогу я увидеть незамутненным взглядом, что мне требуется для итоговой работы.

И именно этой работе... моей первой истинной попытке рассказать историю о городе, питающем нас... посвятил я жизнь. С того дня в течение многих лет новая жизнь приводила меня в места, о существовании которых в моем возлюбленном городе — городе, который я по глупости своей считал очень близко мне знакомым, — я даже не подозревал.

Это заставило меня искать путь среди заблудившихся, владеть только тем, от чего отказались немимущие, трудиться с неприкасаемыми, набираться мудрости у дураков из парка Керзон, а добродетели — у проституток с Саддер-стрит. И потому мне пришлось признать присутствие тех темных богов, что держали в своих руках это место еще до того, как родились сами боги. Найдя *их*, я обрел самого себя.

Прошу вас, не пытайтесь встретиться со мной. Вы не найдете меня, если станете искать. Вы не узнаете меня, если найдете.

Друзья мои, поручаю вам выполнить мои инструкции, относящиеся к этой последней работе. Поэма пока не закончена. Предстоит еще большая работа. Но времени становится все меньше. Мне хочется, чтобы уже имеющиеся фрагменты были распространены как можно шире. Реакция критиков не имеет *никакого* значения. Авансы и авторские права тоже не важны. Это *должно* быть опубликовано.

Отвечайте по обычным каналам».